

поступка была своего рода открытием, она только начинала осознаваться передовой интеллигенцией, непривычной к гласности.

Достоевский с его надорванным каторгой здоровьем, обремененный семьей (в Сибири женился на М. Д. Исаевой — вдове с малолетним сыном), переживал огромный душевный подъем, погружаясь в ту жизнь, к которой чувствовал свое истинное призвание, — в журналистику, в литературу.

Сколько раз в минуты отчаяния он был уверен, что его литературная и общественная судьба оборвалась, так и не успев в полной мере состояться. Ничто, казалось, не предвещало тех крутых перемен, которые последовали за поражением России в Крымской войне и смертью императора Николая I. И даже пришедшие вместе с этими событиями постепенные улучшения в его положении (возвращение дворянства, производство в 1857 г. в офицеры) не сулили возможности возобновления литературно-общественной деятельности. В «провинциальном отупении», в отрыве от литературной среды, от всякой публичной жизни такой скептицизм был естествен для находящегося под полицейским надзором бывшего государственного преступника.

В ответ на планы собственного издания Михаила Михайловича Достоевского, которое тот затевал в расчете на главное участие брата, Федор Михайлович с горечью отвечал, что его сотрудничество может быть весьма ограниченным, поскольку он никогда не будет жить в Петербурге (28, 316). Однако разрешение на жительство в столице было получено (в бытность писателя еще в Твери) при содействии Э. И. Тотлебена, брата товарища по Инженерному училищу, и мечта об активной журналистской деятельности, о литературном творчестве становилась реальностью.

Достоевский вошел в литературную и общественную жизнь столицы удивительно быстро и органично. Уже в декабре 1859 г. он был избран членом Литературного фонда, организации, много значившей для нуждавшихся писателей, и активно участвовал в его заседаниях. Несмотря на огромную загруженность литературной и журналистской работой, выступал в благотворительных концертах, чтениях, сбор средств от которых порой шел в помощь арестованным и ссыльным. В среде разночинной интеллигенции Достоевский встретил уважение, граничившее с поклонением. Автор книги, превознесенной Белинским, он воспринимался как борец и мученик за идеи, начинавшие обретать права гражданства. Это романтическое восприятие писателя передовой молодежью отразила отчасти юная шестидесятница Аполлинурия Сулова. Красивая, умная, пылкая, она увлекалась Достоевским и первая сделала шаг к сближению. Дочь крепостного, Сулова самостоятельно и настойчиво пробивалась к новой жизни, начав серьезно заниматься литературой. Слушательница Петербургского университета, Аполлинурия, как и ее сестра Надежда, оказалась захваченной демократическими идеями — мечтала о труде среди народа, близко стояла к революционной среде. Ее непростые отношения с Достоевским,

развивавшиеся неровно и трудно, осложненные идейными разногласиями, оставили глубокий след в судьбе писателя.

Биограф его считает, что по возвращении в Петербург Достоевский «чувствует, что он сильно отстал», боится «самоповторения»: «... мощный талант еще не знал, на что себя потратить. Приходилось теперь все вызывать из памяти, потому что ни в Омске, ни в Семипалатинске писатель новых богатых впечатлений не приобрел»<sup>3</sup>.

Однако сомнения и неуверенность писателя относились скорее к преддверию петербургской жизни — к работе, начатой еще в Семипалатинске и имевшей свое назначение. Жаждавший вырваться из семипалатинского плена, опутанный долгами, озабоченный необходимостью материально обеспечить свой вместе с семьей отъезд, писатель должен был срочно создать нечто «проходимое», зная наверняка, что внимание цензуры к произведению недавнего ссыльного будет пристрастным. Отсюда выбор тем и сюжетов повести «Дядюшкин сон» и романа «Село Степанчиково». Эти произведения со своими психологическими и художественными открытиями пришлись не ко времени — читающая Россия жила иными проблемами. Прав Л. П. Гроссман, заметивший, что «деревня Достоевского» с ее прекрасным, добрым и честным помещиком Ростаневым оказалась слишком непохожей на ту, о которой взволновано и пристрастно спорили в русской журналистике конца 50-х годов<sup>4</sup>.

Не могли захватить читающую публику и заботы уездного Мордасова — в окружающей действительности происходило нечто более значительное, чем в «Дядюшкином сне». Произведения, которыми писатель после десятилетнего молчания вновь заявил о себе, не стали тогда ни общественным, ни литературным событием. Их черед придет позднее, когда слава писателя привлечет внимание ко всему им написанному, и они тоже будут по достоинству оценены. Но в конце 50-х годов и «Село Степанчиково», и «Дядюшкин сон» лишь возвестили о возвращении в литературу автора «Бедных людей».

Достоевский в должной мере осознавал все это. Ему важно было не просто напомнить о себе, но и заново подтвердить высокую оценку его творчества Белинским. Вопреки мнению биографа, писатель был как раз переполнен «новыми богатыми впечатлениями», накопившимися за годы пребывания в каторжной тюрьме и последующей ссылке. Он ощущал их особую значимость для современного момента и был уверен, что ему суждено написать по-своему о самом важном, что занимало в ту пору русскую мысль, сказать «новое слово» о «неизвестной стране», имя которой народ.

\* \* \*

«Записки из Мертвого дома» занимают особое место не только в творчестве Достоевского, но и в русской литературе, куда эта книга внесла новую, дотоле неведомую тему, ввела огромный пласт

идейную и духовную силу, запечатлелась в воспоминаниях Достоевского ярко и зримо. Ведь речь шла о воздействии на людей, знакомство с которыми Чернышевский отрицал и которых вовсе не считал своими единомышленниками. Но Достоевский не сомневался, что Чернышевскому и не надо «знать» авторов прокламации, «говорить с ними лично». «Вам стоит только вслух где-нибудь заявить свое порицание, и это дойдет до них», — убеждал он Николая Гавриловича (21, 26).

В понимании писателя сколько-нибудь серьезное общественное влияние невозможно без «нравственной приманки» — без потребности «любить, уважать и идолопоклоняться». Вот почему, рассуждая о современных кумирах, к которым он до середины 60-х годов относил А. И. Герцена, Достоевский отказывался признать таковым Каткова («А нравственной приманки у г-на Каткова нет никакой») (20, 195). Обращением за помощью к Чернышевскому в тот трудный час он невольно признал могучую силу и нравственное обаяние идей того, кого обличал в приверженности к материализму.

Достоевский, вспоминая, что был встречен «чрезвычайно радушно». Очень чуткий в таких случаях, он посчитал, что его посещение было Николаю Гавриловичу «не неприятно». В подтверждение этого он рассказал о его ответном визите, длившемся примерно час. «Мне стало ясно, что он хочет со мной познакомиться, и, помню, мне было это приятно» (21, 25—26). Перед переселением в Москву, где Достоевский из-за тяжелой болезни жены, Марии Дмитриевны, прожил несколько месяцев, он был у Чернышевского еще раз, как и тот у него. Знакомство, по его словам, и прекратилось с переездом в Москву («засим произошел арест Чернышевского и его ссылка») (21, 26).

В воспоминаниях Н. Г. Чернышевского Достоевский, придя к нему в конце мая 1862 г., после пожара на Толкучем рынке, ведет речь не о прокламации, а просит остановить пожары, воздействовать на поджигателей. Более позднее появление этих воспоминаний делает в глазах исследователей их менее надежными, чем мемуарный очерк Достоевского, написанный в 1873 г., спустя десятилетие после описываемых событий. Версию, изложенную Чернышевским, подрывает и запрещенная цензурой статья для журнала «Время» о пожарах 1862 г., где решительно отвергается слух, что поджигатели — молодежь и студенчество. Независимо от того, кто был ее автором — Федор или Михаил Достоевский<sup>20</sup>, их единомыслие в вопросах подобного рода очевидно: слишком близки они были, чтобы не разделять оценку событий такой важности в статье, предназначенной для их совместного издания.

И все же, несмотря на то что исследователи (В. С. Нечаева, Н. Г. Розенблюм, А. П. Ланшиков), исходя из всего этого, признают достоверность свидетельств Ф. М. Достоевского, отказывая в ней воспоминаниям Н. Г. Чернышевского, вряд ли стоит полностью подвергать сомнению и эти последние. Не считая участников революционного движения поджигателями, Достоевский вполне мог поверить, что в нем найдутся крайние элементы, готовые пойти и на

такой способ возбуждения революции. Ведь в «Молодой России» столь же решительно утверждалась готовность к любым способам борьбы, к любым средствам ее, сколь явно демонстрировалось равнодушие к крови и жертвам<sup>21</sup>. Рассуждения о том, что восстание в стране назрело, что для него достаточно будет «незначительного повода», могли произвести на Достоевского впечатление. Думается, не случайно в памяти Чернышевского сохранилась тема пожаров — она, по-видимому, не могла не присутствовать в те дни, когда столица была объята пламенем, и по-своему увязывалась с экстремистскими тенденциями «Молодой России».

Воспоминания об одной и той же встрече двух великих современников не только по-разному восстанавливают ее содержание. Они написаны в разной тональности. Глубокое уважение к Чернышевскому и личная симпатия к нему ярко переданы Достоевским: «Я редко встречал более мягкого и радушного человека»; «мне наружность и манера Чернышевского нравились»; «тогда же подивился я некоторым отзывам о его характере, будто бы жестком, необщительном» (21, 25—26). Не то у Чернышевского, который обрисовал писателя почти карикатурно, — нервным, истеричным, взбалмошным, смешным и жалким, не вызывающим симпатий. Главное, автор настойчиво подчеркивает экзальтацию и суетливость Достоевского, его взвинченность и рассказывает, что говорил с ним, как с больным человеком, во всем соглашаясь, переводя разговор на посторонние темы. Достоевский, который пришел к своему идейному противнику в минуту душевного смятения, острой нравственной тревоги, скорее всего и проявил излишнюю эмоциональность, но вряд ли в такой степени, как воспроизвел мемуарист. Да и мог ли он сохранить в памяти сквозь толщу лет те карикатурные позы Достоевского, его смехотворные восклицания, не без юмористического таланта им описанные? Не есть ли это, скорее, плод воображения искусного рассказчика?

Стоило ли продолжать знакомство с подобным нервнобольным субъектом, посещать его после такого неприятного набега и принимать у себя, судя по воспоминаниям Достоевского, оставшегося в твердой уверенности в расположении к нему Чернышевского?

Нельзя не согласиться с тем, что, читая Достоевского, чувствуешь, как он «постоянно и чуть даже навязчиво подчеркивает свое тогдашнее расположение к Чернышевскому». «Когда же читаешь воспоминание Чернышевского, то не можешь избавиться от ощущения, что писавший их человек, уносясь памятью в прошлое, приходил в раздражение»<sup>22</sup>.

А. П. Ланшиков видит в этом влияние тяжелого внутреннего состояния Чернышевского, невольно сопоставлявшего свою судьбу и судьбу Достоевского. Не уподобляя это чувство простой зависти, критик говорит о том, к каким горьким выводам должен был прийти Чернышевский, размышляя о не сделанном им за годы ссылки и невольно сравнивая себя с Достоевским, так много свершившим за то же время<sup>23</sup>. Объяснение это представляется не очень убедительным. Исходя из него, Чернышевский мог бы озлобиться и раздра-



листического «Взбаламученного моря» А. Ф. Писемского, опубликованного Катковым в «Русском вестнике».

И все же сближение с издателем журнала, недавно служившего мишенью для критики почвенников, явно намечалось именно в «Эпохе», когда всё более чужими и враждебными становились Достоевскому и угасавший без Чернышевского «Современник», и набравшее силу и влияние благодаря Д. И. Писареву «Русское слово».

Ближе всех, казалось бы, в эти годы был для него аксаковский «День». Некоторые славянофильские истины писатель фиксирует в дневниковых записях как свои: «Славянофилы не верят ни в одно из европейских учреждений, ни в один вывод европейской жизни — для России. Они отвергают и конституционные, и социальные и федерально-механические учения. Они верят в начала русские и уверены, что они заменят и конституцию и социализм сами из себя, нося в себе зародыши своей правды и уж, конечно, имея право так же жить и развиваться самостоятельно, как жил и развивался самостоятельно Запад» (20, 181). Это и его, Достоевского, убеждение, но, готовый подписаться под этими строками, он не может принять славянофильскую доктрину в целом как свою. «Славянофилы, нечто торжествующее, нечто вечно славящееся, а из-под этого проглядывает нечто ограниченное» (20, 179).

Взгляды писателя находились в процессе пересмотра, в том движении, в котором он продолжал свой спор с решениями, уже, казалось, найденными, проверяя их точность в полемике с идейными противниками. В публицистике, в художественном творчестве Достоевский, сильный в своем диагнозе общественных язв, болезней, пороков, казался современникам слабым в указаниях способов их лечения. Он действительно боялся готовых рецептов категоричного свойства, а участником освободительной борьбы хотелось именно определенности в понимании путей, способов и средств преобразований.

Направление журналов Достоевских признавалось расплывчатым и туманным и потому, что ни «Время», ни «Эпоха» не заняли твердой позиции по отношению к существующей в журналистике расстановке сил, не примкнув решительно ни к одному из существовавших в ней ее влиятельных органов, по-своему оспаривая программу каждого.

«Современник» еще накануне гибели журнала «Время» сравнивал в этом смысле с «Русским вестником» издания братьев Достоевских не в их пользу: «А знаете ли Вы, что с „Русским вестником“ все-таки приятнее иметь дело, нежели с вами? По крайней мере не обманываешься: войдешь в «Русский вестник», ну и знаешь, что вошел в лес, а в вас войдешь — не можешь даже определить, во что попал: и серенько, и жиденько, и скользко...»<sup>47</sup>

«Эпоха» еще более усилила это впечатление идейной и политической аморфности. Нравственные начала выдвигаются в журнале как первостепенные и главенствующие в странном противопоставлении социальным и политическим как второстепенным. Эта линия

журнала четко сказывалась не только в программных публицистических выступлениях Достоевского, но и в статьях ведущих критиков и публицистов Н. Н. Страхова и А. А. Григорьева.

Почвенники воспринимали материалистическую, социалистическую мысль изначально разъединенной с нравственностью. В понимании соотношения морали и политики, в осознании нравственного содержания социально-экономических проблем революционная демократия середины 60-х годов в лице М. А. Антоновича, В. А. Зайцева да и Д. И. Писарева допускала свои издержки, упрощая, случалось, решение этих сложных вопросов. Однако такое упрощение расходилось с подходом к этим проблемам Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена — наиболее влиятельных ее идеологов.

Теория «разумного эгоизма», казавшаяся Достоевскому воплощением чистого материалистического расчета, основывалась, как уже отмечалось, на убеждении, что нравственное поведение личности является оптимальным в социальном смысле и для нее самой, и для общества. Да и сама необходимость радикальных социально-экономических преобразований неизбежно вытекала для русских социалистов-утопистов из требований нравственности. Однако воспринять ее как некий фактор, сам по себе способный изменить общество, его устройство, уклад, порядки, революционная демократия отказывалась.

Анализируя взгляды Аполлона Григорьева, одного из идеологов почвенничества, Писарев особо остановился на этой мысли, являвшейся для «Эпохи» программной, — о первенствующем и решающем значении нравственности. Утверждая основополагающее значение «вопроса о нашей умственной и нравственной самостоятельности», А. А. Григорьев объявил его глубже и обширнее вопроса о политической свободе и крепостном праве. Комментируя эти высказывания, Писарев справедливо увидел здесь не цинизм, а именно ту наивность, которая думала обращением к нравственности и религии решить проблемы русской жизни<sup>48</sup>.

Но ведь и сам Достоевский, как было видно, считал неотъемлемой чертой направления своих изданий именно наивность (28<sub>2</sub>, 56)<sup>49</sup>. Наивность была в том, чтобы спорить со всеми, не солидаризируясь вполне ни с одним общественным течением, одновременно проповедуя всеобщее мирное согласие. Наивность проявлялась в попытке противопоставить политике жизненный опыт, художественские исследования внутреннего мира человека. В то суровое время, неутомимо втягивавшее в борьбу, в обсуждение злободневных социально-политических вопросов действительности, наивность пришлась «не ко двору» и не могла способствовать авторитету журнала. Д. И. Писарев верно нащупал основную причину идейной несостоятельности «Эпохи», предопределившей ее неуспех.

Конечно, свою роль сыграли и тяжелые удары судьбы, невыполнимые потери, которые понес Достоевский в годы издания «Эпохи»: затяжная мучительная болезнь Марии Дмитриевны Исаевой и ее смерть, надрывные, изматывающие отношения с А. П. Су-